

АЛЕКСАНДР МАРТЫНЧУК

“ЕЩЁ ОДИН МОМЕНТ РАССКАЖУ...”

Детство моё было непростое. Семья наша состояла из отца, матери, бабушки и пятерых детей. Земля была наделена по едокам. Примерно, гектара два было. После революции всё было нормально. Когда 20-е годы подошли, во время нэпа, начали поощрять тех, у кого урожаи хорошие и ухоженный скот. Одним словом, хозяйство крепкое. И люди как бы поднимались. Но люди, как вы понимаете, остаются всегда людьми: кто хорошо работал единоличным хозяйством, тот к колхозу подошёл не сразу, потому что думал: а как там-то будет? Не так просто общо жить, всё объединять, а как же делить? Я буду хорошо работать, а рядом со мной – плохо. Ведь если человек хуже живёт, значит, он работает хуже. Это сейчас зарплата, а тогда – как ты к земле отнесёшься, как ты её вспашешь, как ты её заборонишь, вовремя посеешь и вовремя уберёшь, то с неё и получишь. Отец мой любил лошадей: держал кобылу, жеребят. Были ещё, как я хорошо помню, два жеребца: один, гнедой, – тяжеловес, ноги мощные; другой жеребец – верховой вороной конь. У нас от дома был сравнительно далеко колодец, и для того чтобы воды взять для хозяйства, например, зимой, нужно было идти с ведрами. А чтобы лошадь напоить, ей надо было два ведра воды дать, значит, нужно было ехать верхом или вести её по дороге. Отец выводил жеребца – жеребец играет. Отец подсаживает меня на него, даёт мне повод – давай, пошёл. Жеребец уже дорогу знал.

Мне было всего лет 7-8. Конь идёт к колодцу нормально. К колодцу подходит – отец ему воду достаёт, ведро ставит. Вода такая прозрачная. Конь воду пьёт, голову поднимет. Ещё стоит. Отец ещё достаёт ему ведро. Ещё ставит. Он это ведро допивает. Отец и говорит: “Ну, давайте, пошёл!” А сам набирает себе два ведра воды на коромысло и несёт воду домой. А я на этом жеребце по дороге поехал. Вода-то холодная была, его забирает, он хвост оттопыривает – и по дороге как рванет, ногами задними бьёт, головой крутит. Теперь я смотрю, где больше сугроб. Я, конечно, держусь за гриву – какие там поводья! – смотрю только на сугроб, где побольше, раз – и в сугроб. Жеребец вдоль слободы поскакал, у нас украинская слобода была из двух десятков семей, а я пошёл домой. Отец говорит: “Ну, пришёл?” – “Пришёл”, – говорю. Отец берёт севалку, овса насыпал и выходит на дорогу. Жеребец наигрывается по дороге и подходит к нему. Овсом пошуршевал, пошевелил его губами, поел немножко, отец его погладил по шее, – “Ну, пойдём”. И он пошёл за отцом. На этом дело кончалось. Вот так мы и жили.

Колхоз организовали, большинство семей вступили в колхоз, а три семьи в него не вступили: наша семья, моего дяди и ещё одного — его звали Власом, как сейчас помню. Нам выделили самые отдалённые земли, самые неухоженные, на границах с другими деревнями — было километра три от деревни.

Но трём нашим хозяйствам в колхоз всё же пришлось вступить. Это был 1935 год. Пять лет продержались, были единоличными хозяйствами, три хозяйства на всю деревню. А дворов в деревне было 60–80. За счёт чего смогли столько лет продержаться? За счёт того, что объединились: была общая молотилка, общая жнейка. За это дело тоже прижимали: давали дополнительные налоги, дополнительные всякие сборы. Всё равно выдерживали. Хотя было только два человека, работающих в хозяйстве — отец и мать.

А детей было пятеро. Я самый старший, 1922 года. Мне было в 1935 году 13 лет. А в 1930 году сколько было? 8 лет, в школу только пошёл. И в 1935 году была бабушка, она за детьми ухаживала, а отец с матерью работали. Отец был сильный человек. У него ножища была — 45-й размер обуви носил. Физически сильный был, с него пот градом течёт, спина белая — он работает. Без всяких остановок работал. И что получилось? В 1932 году была продрозвёрстка. Был у нас один активист, некий Аникин, такой проходимец, пьяница, лодырь — никто, в общем. Но он выступал, знал, про кого что сказать, кто что сберёт. На одном из собраний он резко выступал. А у нас в деревне была одна бойкая семья, по фамилии Хлопуновы: два сына, отец. С ними особенно не знались. Аникин, видимо, так наскучил всем, надоел, что когда после собрания он переходил речку через мостик, его и прибили. Монтировкой или чем ещё. Как сейчас помню, пастух коров гонит, в дудку играет, хлыстом бьёт. Вдруг кричат: “Убили!” Все побежали, я тоже, обязательно нужно первым прибежать. Он на мостике лежит. Его сын прибежал, сразу его за карманы, а у него наган был, власти ему посодействовали. И началась история: якобы в деревне был заговор. Мол, объединение произошло зажиточного элемента. Для того чтобы не могли создать общие колхозы, такого активного человека решили убить. И кое-кого из мужичков арестовали, в том числе и моего отца. А отец был бойкий, на собраниях всегда выступал и говорил своё слово, что он знает. Он знал себя, крепкий был, ходил на кулачные бои. И был суд, тянулось дело. Но двое сыновей Хлопуновых твёрдо сказали, что никто их не подговаривал, и не было никакого заговора, Аникин всем надоел, и они сами решили его уничтожить. На этом дело кончилось. Но отец всё равно сидел. У нас забрали одну лошадь, вторую, третью. Две коровы были, и тех забрали.

Пятеро детей остались без кормильца, без хозяйства. Что делать? Мать едет в Москву. Она умела только читать печатные буквы, писать не могла. Расписаться могла каракулями. Не знаю, как это получилось, но факт тот, что она попала на приём к М. И. Калинину и по-простому (это был 1932 год) всё рассказала ему, как было, как люди жили, как всё получилось, какая семья, как отец работал, как мы остались. Он её выслушал.

Через два-три дня звонят из приёмной — она получает документы. Ей говорят: “Поезжайте”. Она берёт документы и едет. Достает документы, а там написано: всё вернуть. Всё. Лошади, коровы были в колхозе. Зерно, овёс были в амбаре у нас. И на амбаре — замок. Мать приходит к председателю и говорит:

- Документ видишь?
- А что тут написано?
- Я тебе его в руки не дам. — Он посмотрел документ.
- Ты мне лошадь отдай.

Он отдаёт двух лошадей. Одну лошадь оставляет. И одну корову отдаёт. Теперь уже его жена спрашивает:

- А как же мы останемся без этой коровы?
- Понимаете? К чужой корове привыкла.
- Была весна. Лошадей-то кормить надо. Мать и говорит:
- Мне овёс нужен.
- Сколько тебе нужно?
- Ну, ведро. Сколько дашь.
- Пойдём.

Он заходит в амбар, открывает. Ключ в замке остаётся. Она набирает ведро овса.

Он говорит:

— Ну, выходи.

Она выходит и при выходе закрывает на ключ замок, а ключ — к себе в карман.

Он:

— А ключ?

Она:

— Какой тебе ключ? Лошади мои, и овёс мой.

Он приходит к ней в дом и говорит:

— Да, после драки кулаками не машут.

Всё. Потом через некоторое время отпустили отца.

Это был 1933 год. Значит, мне было 11 лет. И вот в 1935 году у нас бабушка умирает. В возрасте 115 лет. Раньше люди просто умирали. Умирали своей смертью, что было уже подготовлено веком и своей жизнью. Изба у нас была небольшая — 6 на 6, — сени, кладовка. Мать месит хлеб, я рядом бегаю. За печкой лежачок удобный: летом, когда жарко, к стенке можно приклониться, зимой, когда холодно, к печке. Она там лежала. И вот она оттуда говорит: “Оля (мать Ольгой звали), постели мне на полу, я лягу”. Мать ей постелила. Бабушка легла. Лежит и говорит:

— Знаешь что, а я ведь умирать буду.

А ведь всё на ней было: дети, хозяйство, корова, куры, лошадь ещё тогда была. Что такое деревня без хозяйства? Это сейчас зарплата, пенсия. Тогда только свой труд был.

— Знаешь, я ведь умирать буду. Тяжело тебе будет. Так что смотри...

— Что ты, что ты, мама.

А она вздохнула — и умерла.

Её звали Евдокия. Она захоронена вместе с матерью, отцом недалеко от Зарайска.

В 1937 году начались репрессии. И отца опять арестовывают за то, что сразу в колхоз не вступил, что своё мнение выражал, конфликтовал, и по займу выступал. Когда его реабилитировали, мне дело давали смотреть, я был в прокуратуре. И остались мы у матери: я и четверо младших. Мать к мужской работе была не приспособлена, ведь всё отец делал. А я уже в средней школе учился.

До этого я получил серьёзную закалку. Сельская школа была четыре класса. Потом у нас была семилетка. Школа находилась в деревне Чернёво, и до Чернёва нужно было 10 километров ходить. Весной, летом, осенью ходили пешком туда и обратно каждый день на занятия. В одну сторону два часа. А зимой общежитие там было. Отец меня привёз в общежитие. Было мне тогда 12 лет (1934 год). Длинная большая комната, по стенам два ряда коек: с одной стороны — ряд, с другой стороны — ряд. Нас человек 20. Он привёз со мной подушку, набитую сеном, матрац, набитый соломой, два козла и дощатый топчан. Место моё оказалось около самой двери. Мне было 12 лет, а там уже были ребята лет по 15–16, “старички”, которые уже школу заканчивали. По возрасту я оказался самым младшим. Тогда там “дедовщина” была: меня положили у самой двери. Открывается дверь — и вот мой топчан. Тогда яблочный был год, ребята яблоки едят, а все огрызки в меня кидают. И, как чуть что — они кидались. Начинают на меня нападать, а я им — дудки: крепкий был парень, не поддавался. Но всё равно мне попадало. Запомнился мне один такой случай: у нас была печка, потолок высокий — метра три с половиной, высоко на печке стояла “молния” — лампа, освещала. Вот мне и говорят: если попадёшь яблоком в эту лампу, ничего не будет, а если не попадёшь, поддадим тебе. Ладно. Я яблоком — раз, точно! Лампа разрывается — и на койки. Начинается пожар. Но всё быстро погасили. Они видят, что я ещё тот, не сдаюсь им. Я выдержал. Но они меня научили. Закончился один год — старшие ушли, закончился второй — другие “старички” ушли, так я оказался в старших. И я уже стал там “дедом”. И давал младшим “прикурить”, особенно, конечно, я не издевался, но всё равно они были у меня в подчинении.

... В декабре 1941 года меня призвали в армию. Направили в Рязань, там спросили, сколько классов я закончил. Я сказал, что десять. И меня направили командиром миномётного отделения.

Примерно в марте 1942 года, к концу наступления под Москвой, нас перебросили на поездах в Сухиничи. Я был миномётчиком, первым номером.

Шли бои наступательные. Мы заняли одну деревню, и был со мною земляк. Дома все сгоревшие, но остались подвалы. А есть-то надо. Я своему отделению говорю: “Вы подождите, я подойду скоро”, – и пошёл. У меня с собой всегда был финский нож. Смотрю: дом, люк в подвал. Я – раз, дверь открываю, прыгаю в люк, а там солдат. Говорю: “Как ты сюда попал?” – “Попал”. Смотрю: у него баран – жители уже готовились к войне, значит, баранов резали и их хранили.

Я говорю:

– Знаешь, что – баран пополам.

– Как пополам?

– А так, очень просто.

Он видит, что я смелый, а смелость ко мне давно пришла. Я – барана по рёбрам, по хребту. Себе, конечно, большую часть оттаял. В вещмешок – раз. Смотрю дальше – бочка стоит. А в бочке – красная свёкла заквашенная. Не знаю, как её делают, но уцелела свёкла.

Я и её подобрал.

Пришёл в отделение: “Ребята, есть еда!”

И вот начались бои. Начались так: наступление – дают винтовки и – вперёд! Миномёты в овражке лежат. Мин нет. Снарядов нет.

Мой земляк Максимов погибает. При наступлении он отбирает пулемёт у немца, стреляет из него и в этом бою погибает. Его родственникам я рассказывал после войны, как он погиб.

Так мы двигались в конце Московского наступления, которое началось 6 декабря. Но вначале, конечно, оно было слишком упорным с обеих сторон. Много техники уничтожили. Но под конец силы наши слабеть стали. Немец оказался в укрепленных пунктах, в деревнях. А мы на открытом голом поле в снегу. У противника было преимущество.

Трудно было непомерно. Мы наступаем, немец по нам открывает миномётный огонь. Так было несколько попыток наступления без успеха, только большие потери убитыми и ранеными.

Но немцы тоже несли потери.

... Закончились наши курсы, это был март месяц или апрель примерно, и нас выпускают. Поезд подошёл. Я в вагоне расположился. Вынимаю свои документы, смотрю – лейтенант. Командир миномётной роты. Сразу.

Меня направляют в резерв Западного фронта. И тут-то я попадаю в 70-ю стрелковую Верхнеднепровскую ордена Суворова II степени дивизию.

А вы знаете, почему ей орден Суворова присвоили? Потому что мы делали большие переходы. Мы должны были быть там, где надо было срочно остановить наступление противника. Воевала эта дивизия хорошо – 11 Героев Советского Союза.

Первое боевое крещение дивизия приняла в Спас-Деменске в августе 1943 года. Бои шли с переменным успехом. Так как наша дивизия заняла оборону, сменив другую дивизию, огневые точки не были подготовлены заранее для того, чтобы обороняться. Немцы засекли, что мы сменили оборону. И что они сделали? У них не было большого наступления. Было наступление местного значения. Но оно у них было подготовлено.

У нас был завтрак, часть солдат выделяется из траншей для получения еды: не может старшина всю еду принести в траншею. И вот часть солдат ушла. В это время немцы проводят артиллерийский налёт. И начинают наступление. С их стороны были задействованы танки, самоходные установки. Пристрелка была, хотя и незначительная, но была. Я стреляю. Но немец пошёл на высоту. Там наши пушки стояли. Танк пошёл – и сразу пушку поднимает в воздух. И оборону нашу немец смял.

Я свой боезапас израсходовал, беру с собой миномёты и ухожу со своей ротой. Недалеко другие овраги начинаются, и в эти овраги я ушёл. Там остановился. Начал искать своих. И вдруг я натываюсь на командира полка Яценко и заместителя по политчасти. Они смотрят на меня:

– Ты откуда взялся?

Я:

– Как откуда? Я вывел свою роту, все миномёты сохранил, вынес. Боеприпасы все израсходовал.

— Мы же ведь послали две роты со стороны, чтобы тебя выручить. И безрезультатно. А ты вышел. Молодец!

Я тогда сразу ожил, конечно. Говорю:

— Вот моя рота. Давайте мне задание.

Они мне дают задание, и всё дело восстанавливается.

Командир полка Яценко аккуратный был мужик. Долго проверял человека, прежде чем ему что-то доверить. И много погибло тогда людей виновных и безвинных, даже не только от немцев, но и от своих. Я не хочу в это вдаваться. Неподготовленные были, всё-таки только-только сформировалась дивизия.

... Это было в 1943-1944 годах в Белоруссии. Близ деревни Горы и города Горки стояла дивизия, полки стояли по-разному. В Горках была Польская дивизия имени Костюшко. Их немцы постоянно обстреливали. Девять месяцев мы, в основном, в обороне стояли, бои местные были. В деревне рядом со стоянками полков находился госпиталь, там умирали в течение девяти месяцев в обороне. Всех хоронили в братской могиле. Братская могила и сейчас бережно сохраняется.

Была разработана операция “Багратион”. Началось освобождение Белоруссии (Второй Белорусский фронт). И когда немцы почувствовали, что они оказываются в окружении, то стали спешно убегать. Наш полк оказался как бы в этом “котле”, где немцы отбивались от нас и в то же время отступали.

Немцы, отступая, сжигали военную технику, которой было вокруг очень много. В лесах мы встречали стоящие в ряд сгоревшие автомашины, грузовики.

Наша задача была — задержать отступление немецких войск, перекрыть Варшавское шоссе. И было принято решение: организовать отряд, типа десанта, и перекрыть шоссе в районе Пекалино. Был сформирован отряд, человек, примерно, восемьсот, куда входил стрелковый батальон в полном составе и дивизион артиллерии 76-мм пушек.

Мы ночью двигались по дороге на “студебеккерах”. Немцы окопались слева и справа, а мы по дороге шли.

Я ехал тогда в машине. Мы заняли деревню Пекалино. Был дан приказ: всех покормить до рассвета — это было четвёртого июля — и ждать, что будет. Артиллерия заняла позиции, миномёты тоже были готовы к стрельбе, всё готово к бою. И вдруг, часов так в 6-7, толпа немцев, как показывают в фильме “Александр Невский”, идут “свиньёй”. Занимают дорогу и доступные места вдоль дороги, идут стеной, напрямую. Без боевого охранения, чувствуют, что пока это их территория. Потому что, если бы было боевое охранение, то они бы нас отследили. Пошли самоходные установки, танки, пехота сзади, и пошёл немец в наступление. Деревню захватили. В Пекалино погибла на моих глазах Барамзина Т. Н. Посмертно ей было присвоено звание Героя Советского Союза.

Нам был приказ: огонь открывать только при красной ракете. Они к нам уже подошли на расстояние 150-200 метров. И вот — красная ракета. И мы открыли огонь по этой массе — скопищу людей, технике, обозу, материальной части. Когда снаряд попадает в такую гущу, он, не взрываясь, наворачивает на себя людей. И вот такое длилось, примерно, минут 15-20. Такая убойная была борьба, сила с нашей стороны. Примерно через 20 минут они отступили. Мы сразу перегруппировались, те, кто остались в живых.

Мы фактически задачу свою выполнили. Но наши войска, наступающие с флангов, опоздали в своём наступлении примерно часа на три. В нашей группе людей почти не осталось.

Когда это всё закончилось, я докладываю Яценко:

— Техника вся уничтожена. Задание, которое было поставлено, батальон выполнил.

— Молодцы! Всё вы правильно сделали.

На этом дело кончилось.

Мы форсировали Неман. Эта река была с обрывистыми берегами. Когда проходили мост, то одна часть дивизии проходит, а другая к ней присоединяется. Между частями были промежутки, рядом никогда не шли. И вот сидит

ездовой на двуколке. И вдруг мост взрывается. И что вы думаете? Лошади падают вниз. А он как сидел на двуколке, так и сидит. Невредимый! Представляете?

Как-то раз дали команду занять территорию, которую немцы оборудовали. Мы пошли на прорыв. Остановились в одной деревушке, где-то на подходе к Пруссии. Там дома были интересные: стены кирпичные, а внутри пустотелые, потому что погода у них намного теплее, чем у нас. Когда нам было холодно, мы искали такую пустоту в центре, выбивали кирпич, туда вставляли трубу, а внизу — бочка с топливом, таким образом, грелись. И вот я сижу, дремлю, потому что мы ночью шли. Заходит замполит и говорит:

— Пойдём в ту комнату.

А я сижу на койке и дремлю.

Он снова говорит:

— Пойдём в ту комнату.

Я ему:

— Пошёл ты... Я сижу тут и сижу.

Он опять:

— Пойдём же в ту комнату.

Я ему:

— Никуда я не пойду! Ты хочешь — иди.

И вы думаете — что? Он идёт в комнату. Доходит до стола, и вдруг снаряд разрывается перед окном, и его осколком убивает. Что его тянуло туда? Видно, судьба...

Как-то летом мы шли на прорыв. Впереди речушка заболоченная, заросшая кустарником, а рядом возвышенность. Команда: остановиться, перекур. Мы остановились. Я сел на пригорок, закуриваю. Нам давали пачку табаку — трубочный табак, трофейный. Он завернут такой тонкой бумагой для закрутки. А солдатам давали махорку.

Вот я сижу на взгорке и курю. Ниже меня идёт инженер полка, говорит:

— У тебя есть закурить?

— Есть.

Я ему достаю табак, бумагу, и он начинает заворачивать. И откуда ни возьмись, летит снаряд, шуршит. Я раз и прыгнул в эту речку, меня всего забросало грязью. Он передо мной замертво упал, а я сижу, жив — невредим.

И был такой порядок: если знамя часть потеряет вне боя — кража или что-то ещё, — то полк расформируется. Если же в бою, то восстанавливается, если не захватит противник.

Мы были в Пруссии. Между нами и противником была высокая стена. Там — немец, а здесь я сижу, и со мной рядом офицер сидит. Тут траншея. Это было осенью, я в шинели сидел. А шинели у комиссара были двубортные, передняя часть (грудь) была с ватой. Внизу картина: речушка, заросшая кустарником, знаменосцы, трое, несут знамя. Меня офицер спрашивает:

— Слушай, какой порядок в армии со знаменем? А если знамя отберут или немец захватит?

Я ему:

— Расформируют. А если в бою, восстанавливают всё.

И откуда ни возьмись — летит снаряд, ударяет прямо в знаменосцев. И их, и знамя разорвало. Полковое знамя. А меня в грудь ранило. Думаю, что такое жжёт? Снимаю шинель, гимнастёрку, смотрю: горячий осколок лежит у меня на груди. Представляете? Вата задержала, лацкан шинели.

Это было в Пруссии осенью (сентябрь 1944 года), когда созревает свёкла. Там было свекольное поле, а наша оборона проходила по этому полю. И вот у меня записано: в штрафную роту дать 5 пулемётов. Но штрафная рота нас подвела: она отступила. Мы оказались в окружении, и нам пришлось отступить.

У нас в батальоне остался один пулемёт, и я его таскал с места на место, туда, где было необходимо. Я стрелял из пулемёта, а мой ординарец держал ленту. В конечном итоге немцы решили сделать прорыв через нас. По полю была прорыта глубокая траншея, наша оборона пересекала её. Немцы собрались в овраге, чтобы незаметно атаковать и отрезать батальон. Но получилось

так, что я оказался в этом месте, а у нас там НП был метрах в пяти от траншеи. И немцы допустили одну глупость — для того чтобы начать наступление на нас, чтобы нас отрезать, они выпустили красную ракету. А у меня, как оказалось, пулемёт был нацелен на это место. Я сразу раз — двумя пальцами на гашетки нажал и пошёл их поливать.

Ещё один момент расскажу. Он как бы идёт вперемешку со всеми остальными. Коса Мемель. Клайпеда. Клайпеду перед нами освободили от немцев, и мы тоже подошли. Но когда я туда вошёл, то там ни одного человека не было. Всё пусто: пустые дома, ничего нигде нет. Мы подошли к окраине, дул холодный ветер с Балтийского моря. А раз ветер холодный, влажный, он пронизывает тело, и нам надо погреться. Мы на окраине подожгли некоторые дома и грелись. Мы с ординарцем на лошадях сели и поехали к порту, к причалу. Проехали пустые верфи. Вошли в город и стали в дома заходить — нигде ничего нет. Ни кусочка хлеба, ничего съестного. Только собачка сидит в кресле и смотрит на тебя такими глазами... Маленькая собачка, больших собак я не встречал, только маленькие были. И столько баракла разного! Ужас! Полные шкафы. Нам разрешали посылки домой отсылать. И обычно солдаты приходят, шкаф открывают, что нравится, выбирают. Некоторые даже швейные машинки хватали и тащили. Но бывало и так: до следующего дома доходит, а там вроде машинка лучше, он первую бросает, а ту берёт. Ужас один. Трофеи. Но я на это дело никогда не поддавался. А мы нашли пасеку и мёд. И этим мёдом воспользовались. Но наш полк потом отвели. И что получилось? Когда наш полк отвели, ночью, помню, зарево в городе. Немец заложил взрывчатку под домами и стал взрывать. И кто зашёл после нас, понёс большие потери. А наш полк не пострадал. Потом наш полк на косу, длину 110 километров, встал в оборону. И наша задача была такая: не пустить немцев со стороны моря.

Коса — Фишгафен. Она тянется от Клайпеды до Кёнигсберга. Самое широкое место косы 700 метров. Самое узкое — 300. Вдоль косы шоссе типа дорога. Электричество там не проведено. Огромное помещение, типа конюшни, и там стояли батареи, а от батарейного питания было освещение. Мы ходили к морю, к заливу — там песок. Специально сделаны деревянные ограждения, чтобы не было оползней. И наш батальон оказался в очень выгодном месте: немец, убегая, оставил свою фабрику-кухню. На фабрике-кухне осталось растительное масло, мука, коньяк французский. Они не успели эвакуировать. Интересная у них капуста: капуста не просто рубленая, фаршированная, если взял её вот так, начинаешь поднимать, можно, наверное, всю бочку вынуть оттуда, одна за другую цепляется. Представляете? Такая вкуснятина. Наши повара — специалисты стали разные пончики делать, пирожки на масле. Коньяк тоже пригодился.

И вот приезжает к нам заместитель командира дивизии, не помню фамилии, мужчина лет 45.

Приезжает для ориентировки местности, проверить, какие у нас дела. А у меня пара лошадей, длинный фаэтон немецкий на резиновом ходу. Мы сели и поехали. Фаэтон крытый, большой. Заместитель командира дивизии на бричке приехал, вдвоём с адъютантом. Он всё одобрил. Все обеспечено. Данные везде рассчитаны.

Я спрашиваю:

— Обедать будете?

Мне запомнилась одна его присказка: “О чём говорить?” — на всю жизнь.

Он:

— О чём говорить? Конечно.

А мы, офицеры, находились на втором этаже. Получилось так, что я, в основном, за командира батальона был: то одного кого-то ранило, то кто-то погиб. В общем, не знаю, почему так получалось. Я, заместитель по строевой части и замполит — офицеры. Нас трое и он — четвёртый. Сели за стол. Я говорю:

— А это можно?

Он же полковник, а я — капитан. В войну можно было что угодно сделать, знаете.

А он:

– О чём говорить?

Я вытаскиваю бутылочку, он её берёт, стаканы были немецкие – такой стаканчик кверху зауженный, их ровно четыре стакана. Пол-литра на 4 стакана.

Я эту пол-литровочку разливаю. Он выпивает. Поговорили, поговорили. Мы – молодые, для нас бутылку выпить – это было раз плюнуть. Вроде как воды выпить в то время.

– Товарищ полковник, может быть, ещё?

– О чём говорить?

Выпили ещё. Закуска была хорошая. Выпили, поговорили. А он:

– Знаешь, что? Я в Ленинграде был начальником училища.

Потом спрашиваю:

– Может, ещё (третью)?

Он:

– О чём говорить?

Беру третью. Выпили ещё по стакану. Смотрю: он уже начинает заговариваться. Думаю: что делать? Отказать? Не могу. Предложить ещё – тоже рискованно. А мы ещё бутылку выпили. И получилось по бутылке на каждого. Для нас это была ерунда.

– О чем говорить?..

Он вынул свои документы. Стал показывать нам. Всё рассказывать, что он нас пачками выпускал. Мы ему поддакиваем, лишнего сказать ничего не можем. И когда он четвёртый стакан выпил, о стол опёрся и повалился набок.

Мы его подняли и на кровать. Одна наша глупость была, что мы не сняли с него мундир. Его там перекутило, стошнило. Весь мундир испачкался. Потом мы его раздели, мундир с него сняли, помыли, как следует всё сделали, вещи почистили, посушили, подгладили. Всё. Он утром проснулся. Неудобно ему.

– Товарищ полковник, разрешите.

Он:

– Ничего, ничего. Всё нормально.

Я ему:

– Вот ваш мундир. Всё нормально?

– Нормально всё.

И мне тоже было неудобно, скажет – напоил.

Бледненький. Он мне:

– Ты мне бутылочки три положи.

А я говорю ординарцу:

– Ладно, положи ему четыре.

И уехал он. После этого были там какие-то совещания, встречались. Я на него посмотрю, он на меня посмотрит, улыбнётся и всё. Но никакого общения с ним у нас не было.

Мы всё там живём. Коньяк кончился, а ребята мы ушлые, не то, что сейчас. В армии, я имею в виду. Гнать самогон, из муки. А как же? Всё, в чём есть крахмал, это есть самогон.

Смотрю: без всякого предупреждения заявляется начальник политотдела дивизии. Утром. Часов в 9, когда у нас завтрак. Такой распорядок дня. Мы уже расположились, сидим четверо, и вот мне докладывают. У нас бутылочка самогона стоит, заделанная чем-то красным. Он заходит. Я встаю, докладываю:

– Товарищ полковник, так и так. Всё нормально. Никаких происшествий, ничего. Мы завтракаем.

– Ничего, ничего. Садитесь, пожалуйста.

И что мне делать? У нас уже налиты стаканы. Мы ещё не выпили.

Думаю: что же делать? Пойду на риск:

– Товарищ полковник, будете?

Он:

– Запах-то есть?

Я наливаю ему стакан. Мы чокнулись: за нашу победу! Он выпил и говорит:

– А всё же самогон!

Ну, думаю, будет нам взбучка. Ничего подобного, всё обошлось, всё прошло без всяких последствий.

Мы на косе месяца полтора были, минимум.

В Восточной Пруссии мы стояли на одной высоте, а немец на другой. Позади немцев — Балтийское море, там в обороне стояли, в основном, немецкие моряки, у них были снайперы, тяжелые пулемёты.

В это время я был замкомандира батальона. Командир полка ставит задачу — атаковать и взять высоту. Была небольшая артподготовка. После команды “в атаку” пехота не поднялась. Я выхватываю пистолет и команду: “Вперёд, в атаку, за мной! Члены партии — вперёд!” Пехота поднялась и пошла, невзирая на пулемётный огонь со стороны противника. Мы несли потери. Но немцы не выдержали нашей атаки и оставили траншеи. Я вскочил в занятые траншеи, уже была связь с полком, и смотрю, как отступают немцы. Связной кричит: “Вызывает первый!” Я к телефону, докладываю, что высота взята, и, когда отошёл, в это время в ячейке, где я наблюдал, взрывается снаряд.

Далее наша дивизия заняла форт. Я в форт заскочил, смотрю: стоят тут и там топчаны, ремень, а на нём — пистолет, самый сильный их пистолет. Я его в карман положил, смотрю: плащи чёрные, я один плащ схватил — холодно было. В шкафу стоят бутылки вина. А до этого нам сказали: ни в коем случае вино и водку не пить — отравлено. Открываю шкаф, рукой за бутылку взялся, а она пыльная. Думаю: кто же будет пыльную бутылку травить? Я эту бутылку положил в карман.

В это время нам дали перерыв. Я был командиром штурмовой группы. А было так: одни штурмовали, другие отходили, третьи снова заходили. Дают задание: штурмовая группа штурмует объект, а вторая уходит. У нас как раз был перерыв. Подхожу поближе, мои помощники сидят. Я говорю одному:

— Открывай бутылку, наливавай стакан!

Он наливает стакан.

Я говорю:

— Себе налей!

Я этот стакан выпиваю. И у него осталась ещё бутылка. Сухое вино. Слабое.

Я говорю:

— Знаешь, что? У нас будет перерыв полчаса. Я, может, подремлю, а ты меня потом разбуди.

Проходит полчаса, он меня толкнул, я проснулся, ему говорю:

— Давай другую бутылку.

— Что ты, ты когда, — говорит, — немножко всхрапнул, они у меня эту бутылку отобрали и всё выпили.

Пруссия. Апрель 1945 года. Командовал я штурмовой группой при штурме Кёнигсберга. Теперь я подхожу к ранению, которое получил.

Я выхожу из блиндажа на определённое задание, и вдруг снаряд взрывается, ударяет осколком меня в спину. А было холодно. Это было 7 апреля 1945 года. Я сразу почувствовал, что мне тепло. Я был в кителе и в телогрейке, сразу рукой я взял впереди — кровь. И не упал даже. Возвращаюсь в траншею, иду в блиндаж, где до этого находился. Как сейчас помню, впереди меня оказалось поваленное дерево. Я нагнулся, вхожу в блиндаж. А там оказались санитары.

— Что с тобой?

— Я ранен.

Снимают с меня телогрейку, китель, делают перевязку. Я ложусь. Через некоторое время прибегают мой ординарец и ординарец замполита.

— Товарищ капитан, товарищ капитан, обед принесли.

Я говорю:

— Мне обедать нельзя.

При ранении в живот ни в коем случае ни есть, ни пить нельзя, мы это уже знали.

Я говорю:

— Несите меня в медсанбат. Срочно.

Они меня схватили и понесли.

Меня спасло ещё и то, что я до этого не завтракал и вечером не ужинал. У меня был пустой желудок. Вот это меня и спасло. Воспалительного процесса не возникло.

Несли мимо наступающих войск. Потом меня оставили. Через некоторое время подъезжает повозка — двуколка, которую они нашли и меня повезли. Вдруг слышу, что начался скандал, догоняет нас человек, у которого они украли повозку. У него военная повозка, он за неё отвечает. Они начинают скандалить, дело доходит до столкновения, чуть ли не до оружия. Я вынимаю пистолет и как пистолетом ударил о повозку, выстрелил. Говорю:

— Отдайте повозку! Отдайте повозку ему.

Они меня вынимают из повозки и возвращают ему повозку. И меня снова понесли. Несут, несут, и тут вдруг переправа. Идут навстречу войска: пушки, танки. Они меня на носилки, накрыли шинелью. И, помню говорят:

— Пропустите, пропустите. Командир полка (так они сказали). Дайте проход. — Меня вынесли, на берег положили, и опять куда-то ушли. Смотрю: на повозке приезжают. Меня — на повозку и снова повезли. И привезли в медсанбат. Ординарец говорит:

— Тебе вещи принести сюда?

Я говорю:

— Не знаю. Успеешь — принесёшь, не успеешь — не принесёшь.

Вещи были хорошие, на них даже командир полка охотился, потому что я одного немецкого генерала раздел. И оружие с него снял. И вот я там лежу, а они особенно обо мне и не думают, потому что с моим ранением нужен специальный врач. Простой хирург за это не берётся. Кишечник ведь весь вынимается наружу, и его начинают перебирать.

Хирурга такого в медсанбате не было, и врач задаёт вопрос:

— На самолёте полетишь?

Я говорю:

— Полечу.

И меня несут, чуть ли не голого, — правда, вещи мои основные — китель, сапоги хромовые — мне положили. И несут меня на самолёт У-2. Там два человека в люльках: с одной стороны люлька и с другой — люлька. Привозят меня в Тильзит (сейчас Советск). Лётчик посадил самолёт в поле. Меня на носилки и сразу в госпиталь.

И вот меня оперируют. Когда первый раз оперировали, наркоз стали подносить — я лежу. Врач:

— Сестра, наркоз!

Я лежу. Врач ещё:

— Мартынчук!

— Я!

Врач:

— Сестра, наркоз!

Врач:

— Мартынчук!

— Я!

Врач хочет начать делать операцию. Третий раз говорит:

— Сестра, наркоз!

— Мартынчук!

Я отвечаю как бы в душе, он меня не слышит. И врач понял, что я готов для операции. Чувствую, что что-то зашуршало по животу. И всё. Он меня прооперировал, привезли меня в палату, лежу, есть не могу, ничего делать не могу. Подойдёт врач, послушает — всё нормально. Через некоторое время отправляют меня в другую палату. А до этого мне сделали переливание крови. Раньше я был в палате, где лежало человек 6–8, в другой палате, куда меня перевели, всего два человека. Я лежу, и другой лежит. Он полежал полдня — увезли, привезли следующего, он полежит полдня — увозят. А я всё лежу. Я врачу говорю:

— Слушай, у меня всё пересыхает: губы, горло — мне бы водой смыть всё это дело.

Он говорит:

— Не положена вода.

Я:

— Надо, надо.

Он говорит сестре:

— Хорошо, принеси ему.

Были всегда старшая сестра и сестра-хозяйка. А врач был майор. Медсестра приносит мне стакан воды, вату, отёрла мне губы, дала в рот немного воды. Я сполоснул и выплюнул.

Врач посмотрел на меня:

— Поставь ему воду и вату, он всё сам себе сделает.

А я лежать на спине не мог и на животе не мог — полулежал на подушках. Я никогда не терял сознания: ни во время ранения, ни после операции, потому что основные органы у меня работали. Проходит некоторое время. Лежу день, лежу два, три... Смотрю: приносят мне первое, второе и компот. Я сестре говорю:

— А что, мне положено?

Она говорит:

— Да, положено. Врач прописал, можете не волноваться.

Я взял в руки всё это и как в дверь тарелку хажнул. Она, конечно, убежала. Видимо, по их расчётам, я должен был уйти из жизни давно. Решили, что я безнадежный.

Врач приходит:

— В чём дело?

А я:

— Вчера мне нельзя было воду пить, а сегодня я должен щи есть?

И мне это прекратили. Я полежал день, другой. Меня перевели в основную палату. Смотрю: мне дали кагор — 60 граммов, кагор стали выписывать, начали постепенно давать еду и лечить. И вдруг мне стало снова плохо. У меня начался воспалительный процесс. Снизу стало давить на сердце, на лёгкие, начал задыхаться. Я говорю:

— Врач, делай мне операцию.

А он:

— Не могу я тебе операцию делать, у нас сегодня банный день.

Я ему:

— Ничего не знаю.

А со мной ребята, офицеры, лежали, встают и бегут к начальнику госпиталя. Приходит начальник госпиталя — высокий мужчина, солидный, с бородкой:

— В чём дело?

Я говорю:

— Давит мне снизу. У меня что-то не в порядке внутри, меня оперировать надо. Я хочу, чтобы меня оперировали.

Он отошёл вместе с начальником отделения, о чём-то они тихо поговорили и ушли. Тогда меня на каталку и увезли. Снова вскрыли, опять кишечник весь вытащили, промыли, что нужно, зашили или отрезали, вставили две дренажные трубки. Если бы я ещё подождал полдня, то у меня начался бы перитонит, и я был бы "готов". И я после начал постепенно поправляться. Потом мне стали вино давать. Один раз мне принесли водку. Сестра говорит:

— Пей.

Я:

— Не буду пить.

Мою полевую сумку всю обобрали. А у меня были даже немецкие авторучки, карандаши разноцветные были. Всё у меня взяли. Ещё там были письма домашние, а в письмах — золотые маленькие часы, мне их разведчики подарили. И они их не нашли. И когда мне вернули сумку, то я нашёл эти часы, а сестры увидели часики, стали около меня "крутиться". Она обнесёт всех вином, а мне побольше. Стал я поправляться, ходить я ещё не мог. Они вывезут меня, держат, а я иду дальше, за стенку держусь.

И вдруг я задумал уехать в Россию. Тильзит — это же Пруссия. Поеду в Россию. Стал проситься, чтобы меня отправили в Россию. Вообще же, зря я это: там у нас и рыбка была хорошая, вино давали. А когда вино не стали мне давать, я сестре говорю:

— Слушай, мне вино отказались давать. Что мне делать?

А она:

— А ты недоешь что-нибудь и пообедай плохо. Скажи, что у тебя настроение плохое.

Я начинаю врачу "загинать". Он спрашивает:

— А вы вино получаете?

Я:

– Нет.

– Ну, пропишите. . .

Прописали. А когда я водку пить не стал, приходит врач, спрашивает:

– Почему водку не пьешь?

– Не пью и всё.

– Не стыдно тебе? На фронте пил?

– Пил.

– Пей!

Ну, я выпил, конечно, граммов 30. . .

Теперь, когда меня стали переводить в основную, общую палату, я врачу говорю:

– Слушай, вот меня привезли на самолёте сюда. У меня была шинель новая, китель, брюки, как положено, обмундирование, шапка, планшет, сапоги хромовые. А я думаю: “Вот, выпишусь отсюда. Что я? Драное мне дадут что-нибудь. Офицер прошёл войну, и я приеду ни в чём. Где я что возьму?”

Он говорит сестре:

– Обход закончится, посмотри его вещи.

Обход закончился. Прошло время. Сестра приходит, приносит мне вещмешок мой.

– Шинель твоя?

– Моя.

– Китель твой?

– Мой.

– Брюки твои?

– Мои.

Сапоги, шапка. Сумка пустая оказалась.

– Планшет твой?

– Мой.

Она мне говорит:

– Мне все эти вещи сдать на основной склад или у меня пусть останутся?

Я говорю:

– Пусть они у вас останутся.

Я думаю: буду выздоравливать – к девкам пойду, гулять пойду. Не думал даже о том, что я не выживу. Почему-то у меня в голове даже мыслей таких не было. Организм был сам настроен, не только мысли. Бывает так, что в мыслях один настрой, а получается на самом деле по-другому, а бывает и нет. Так вот, у меня даже другого настроения не было. Я начну поправляться, пойду к девкам. Мне было 23 года. Самый такой подходящий возраст. Офицер. Погоны. Капитан.

.....
Редакция сердечно поздравляет ветерана Великой Отечественной войны Александра Даниловича Мартынчука с 98-летием!